

ЖЕНЯ ПАВЛОВСКАЯ

ОБЩЕ-ЖИТИЕ



В ЖЕЛТОЙ СУБМАРИНЕ
ТРУДНЫЙ РЕБЕНОК
GOD BLESS AMERICA

Женя Павловская

Обще-житие (сборник)

«WebKniga»

2012

Павловская Ж.

Обще-житие (сборник) / Ж. Павловская — «WebKniga», 2012

Сборник состоит из трех разделов: «В желтой субмарине», «Трудный ребенок» и «God Bless America». В рассказах уживаются и юмор, и лирика, и строки «ума холодных наблюдений и сердца горестных замет». Книга называется «Обще-Житие» не только и не настолько потому что многие рассказы в первой части связаны с петербургским периодом, когда Женя Павловская училась в аспирантуре ЛГУ и жила в общежитии на Васильевском острове. Мы все связаны удивительным и маловероятным совпадением: мы современники. В какой части света бы мы ни жили – это наша общая жизнь, это наше Обще-Житие. Книга – об этом.

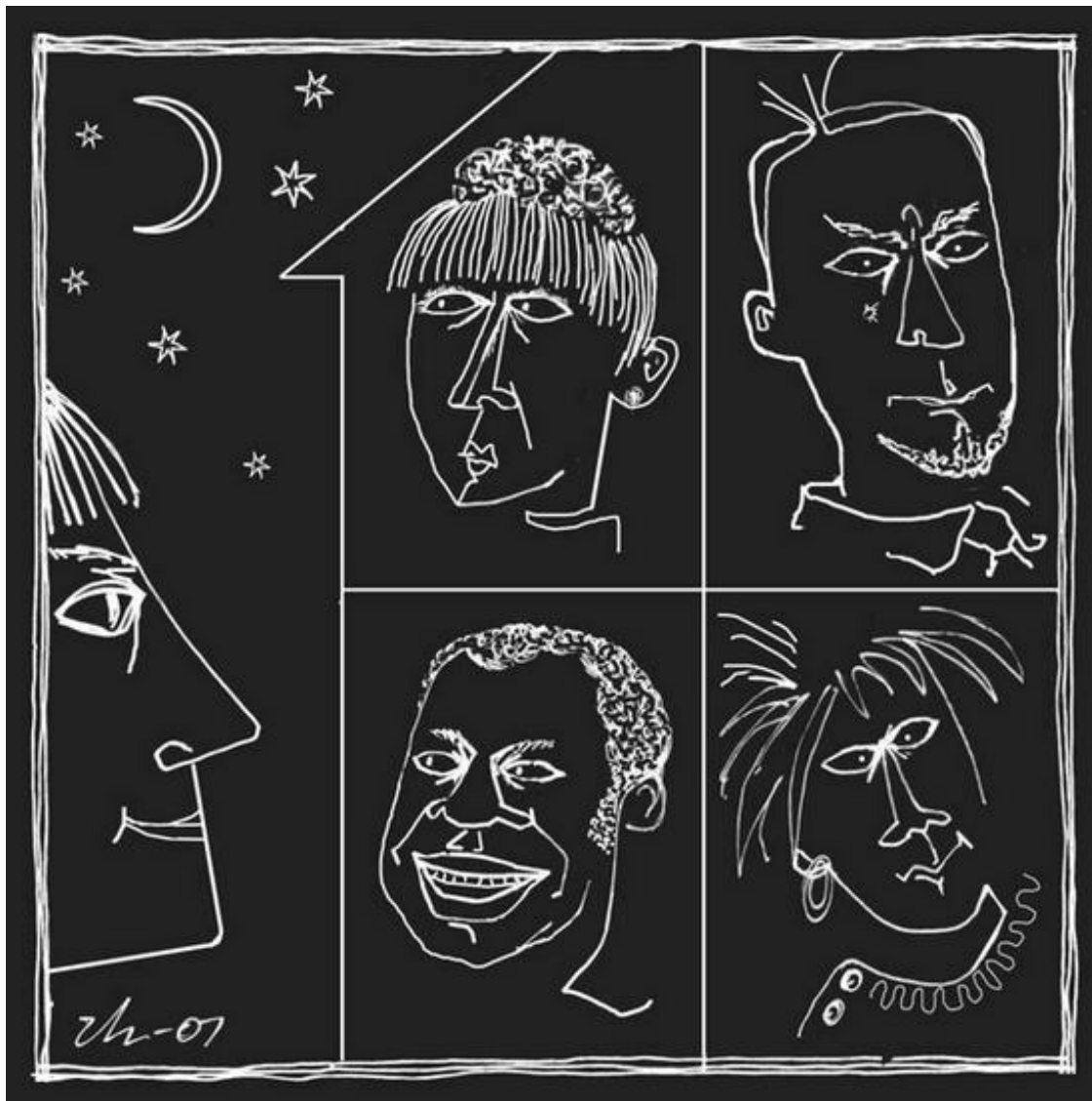
Содержание

В ЖЕЛТОЙ СУБМАРИНЕ	5
Знакомых наших имена	7
В желтой субмарине	12
Белые ночи на Васильевском	15
Морис и Сулейман, афроафриканцы	20
Конец ознакомительного фрагмента.	25

Женя Павловская

Обще-Житие. Рассказы

В ЖЕЛТОЙ СУБМАРИНЕ



Где подушка и чай – если даже вдвоем —
Может быть, это кров – не всегда это дом.

Я в рукав спрячу грусть,
Не уйду сгоряча,
Помолчу, поклонюсь
За нечаянный чай.

И забуду о том.
Средь потерь и даров

Не всегда бабе дом,
Хорошо, если кров.

Знакомых наших имена

Не плачьтесь Алексу в жилетку! Лучше уж позвоните Алику. В самом деле, вам ведь не надо, чтобы кто-то сломя голову мчался помогать – пусть просто посочувствуют, повздыхают. Восемьдесят процентов Аликов обаятельны, профессионально несостоятельны и знают тьму интереснейшего – лишь бы это не относилось к их профессии. Имя – ярлык времени, перст судьбы, строгий дирижер наш. Пользующий имя «с чужого плеча» всегда как-то это ощущает и неопределенно мается. А порой подбирает что-то по себе... Человек, который здесь зовется Алексом, корректен, гладко выбрит и пахнет дорогим одеколоном. Помнит наизусть массу полезных телефонов и, уходя, не болтается в дверях, вспомнив в последний момент борода-тый анекдот. Алекс сбросил, как смешную детскую байковую курточку, ласковое «Саша». Тем наипаче он не может функционировать в форме Алика, хоть по внешнему признаку своего имени мог бы так зваться. Саша-Алик-Александр. Алекс по сути своей «антиалик». Алекс-телекс-дуплекс – и вся точная, бесшумная, без острых углов «хай технолоджи» в целом...

Давно один чуткий к словам и не очень добрый человек сказал, что «мое» имя – Нонна Георгиевна. Что-то уж слишком я горячо запротестовала тогда – явно не хотела признаваться в чем-то таком, что затаенно звучит в этом имени. Какое, позвольте, он имеет право меня как кроссворд разгадывать? Нет, я не забыла этого разговора за давностью лет – не такая уж это была чепуха... Изысканность и утонченность редко присуща Геннадиям. Нежного и нервного прозаика Геннадия Гора (мало кто его помнит, а жаль) вывозила его романтическая «гринов-ская» фамилия.

Детство. В комнате соседки, тети Маруси Ковалевой (абсолютно точное попадание имени и фамилии!) тайно проживали и шмыгали в ванну непрописанные «партизаночки» Зоя и Паня. У них был молчаливый грудной младенец и я, смышленное дитя войны, безо всяких объясне-ний знала, что нечего тут лезть с вопросами. Были ли они в самом деле партизанками, или это что-то вроде их коллективного прозвища? Как они попали в наш тыловой город? Я твердила про себя их странные имена-антиподы. «Зоя» звучало стеклянно и имело форму бумеранга или, скорее, остроконечного полумесяца на голове – как у Изида. Тогда я ни о какой такой Изиде, конечно, и слыхом не слыхивала. Но когда позже в учебнике истории я увидела узкую напряженную фигурку с хрупким полумесяцем на голове, мгновенно поняла: Зоя. И прочла «Изида». «Зоя», «Изида» – преобладание гласных над хрупко звучащими согласными. Звеня-щее и имеющее вид полумесяца, состоящего из двух полумесяцев, «З». «Паня» – наоборот, выпуклое, шершавое, деревенское, толстоцеко-простоватое...

Помню красногалстучных, с туго заплетенными косами и чистыми ушками Стайлн, дочек завучей и инструкторов райкомов, крепеньких, гордых носителей «политического» имени. После XX съезда они скачкообразно превратились в каких-то опереточных Стелл и утратили лицо. Некоторые скатились до Элл, Эльвир, Элин... Такое вот имятрясение для них стряслось... Курсом старше меня училась строгая сероглазая девушка Идея: «Идейка, пошли в буфет! Идейка, не опаздывай!», «Идейка-а-а!». Откликалась как миленькая.

Тощая и веснушчатая Лялька скакала во дворе в классики, на удивление ничем не при-мечательная. Тайну ее имени я узнала случайно. По какой-то причине мама взяла у домоуправа Егорова большую, разбухшую, с сальными углами домовую книгу, книгу тайн дома тридцать восемь по улице Дзержинской: кто где прописан, работа, год рождения, настоящее имя-отче-ство, национальность. Захватывающее чтение! Книга – источник знаний, кто же спорит? Его-ров давал ее со скрипом, но случаи все ж бывали. Как только мама отправилась за хлебом, я хищно бросилась к Книге. Мы там были, конечно, тоже, и про нас было записано прямо и грубо: «евреи». И про Фридманов такое же. А хромого дядю Колю-водопроводчика, оказы-вается, зовут Нагим Исматулович и против его фамилии значилось линияло-фиолетово «тота-

рин». Сердитая Полина Дементьевна из шестой квартиры была на самом деле Пелагеей. Ага! Теперь я знаю ее секрет! Вот еще раз закричит на меня, так всем расскажу, как ее зовут!

А кто же это – Ванцетти Николаевна Чугунова из квартиры девятнадцать? Господи, да это же Лялька! Просто Лялька! Я еще вчера с ней в прятки играла и ничего такого про нее не знала! Лялька-то – Ванцетти!

В то время имена казненных в Бостоне итальянских анархистов Сакко и Ванцетти талдычились по радио сто раз на дню. Бесспорно, нашей прессе было бы много приятней, если бы они оказались неграми и одновременно коммунистами – но не всегда ж такое везение. Хорошо хоть так. Ненужные народу подробности газетами умалчивались – главное, что их казнили в «кичащейся своей пресловутой демократией Америке». Из чего ясно следовало, что наша-то, советская демократия никак не пресловутая, а вовсе наоборот. Была даже кондитерская фабрика имени Сакко и Ванцетти, пекла пряники. Сакко в этом дуплете всегда упоминался первым. Я думаю, в целях благозвучия, чтобы тут же замазать впечатление от неприличного «Сакко» вполне оперно звучащим «Ванцетти». А возможно, Сакко этот был в своем анархизме покоммунистичнее, чем Ванцетти. Или его просто казнили первым, и наша неподкупно честная пресса старалась сохранить этот порядок. Кто знает? Но, как ни говори, а Лялькина прогрессивная маман оказалась не вполне принципиальной, отвергнув для девчурки имя Сакко. Поволокалась на поводу у ложного украшения.

Лялькина мамаша была «дама» – носила чернобурку на крепдешиновом платье с палевыми розами по голубому полю, острый алый маникюр, и с низкими грудными переливами голоса говорила: «мой поклонник» и «бельэтаж», а мне: «деточка»... Ее и звали – Лидия. Никогда и ни разу – Лидой, Лидочкой, Лидкой... В те времена похожих на кинозвезду Марику Рёкк дам-блондинок с пахнущими дорогой «Красной Москвой» чернобурками часто звали Клавдиями или Валентинами. Они сидели в бархатно-малиновом партере драмтеатра с военными. Роскошь пахла «Красной Москвой», одеколоном «Шипр» и скрипучей кожей мужественных портупей. Бедность – тухлой селедкой, керосином и ненавистной синей вигоневой кофтой с коричневыми сатиновыми заплатами на локтях. Однажды, забредя к Ляльке-Ванцетти домой, я обмерла от невиданной красоты: по голубому озеру плюшевой скатерти плыла овальная ладья шоколадного набора – с выпуклым кремовым бумажным кружевом по краям – зубчиками и дырочками. А сбоку-то! Ах, а сбоку! – золотенькие щипчики. Ими, наверное, надо было брать конфету, изящно отставив мизинчик с малиновым ноготком. Меня не угостили, да и не знала я, как такое едят. Ни изыски Фаберже, ни кузнецовские фарфоровые затеи не производили потом на меня такого ошеломляющего впечатления. А ведь Лялька считалась среди девчонок «бедной», у нее не было даже лысого целлулоидного пупса, даже самых простых дырчато-рыжих с разлапыми рантами сандалет – это признавалось во дворе «чертой бедности». Мама запрещала мне ходить к ним домой. Где ты сейчас, Лялька, – уж не помню лица, – как твое нелепое имя направило жизнь твою?

Во взрослом возрасте симметричный случай показался мне ожидаемым и закономерным. В тоскливом научно исследовательском институте скучал младшим научным сотрудником плоско-и сероволосый комсомольский функционер – Толик, Валера ли – обладатель опасно шикарной фамилии Антонелли. С какой крыши это на него свалилось? Лелеял мечту подтянуться на ступеньку выше и выбиться в небольшие партийные вожди. «Красивое имя – высокая честь», но только, господа, с учетом обстоятельств. Я полагаю, что даже «Гренадская волость» в то вязкое время была бы незамедлительно переименована в Брежневскую, если бы испанцы свое счастье правильно понимали. Антонелли изловчился и стал Рюхин по матери. Обрел соответствие формы и содержания – на всех путях загорелись зеленые светофоры. Твори! Выдумывай, дурень, пробуй! Но вскоре после метаморфозы герой на ноябрьские напился в отделе водки с «Жигулевским», стал буен, сломал табурет и купленный на валюту западногерманский рефрактометр, с намеком кричал доктору наук Каплунскому: «Порядок, Львович, ты меня

понннял?! Поррядочек в рядах! Кого надо – к ответу!» Пролетарская фамилия рвалась наружу, как перегретый пар. Карьера, не успев начаться, загремела под откос. «Я бы на его месте теперь обратно в Антонелли перекинулась. Нечего уж терять», – ехидно заметила Юлька Шапиро. С ее фамилией ей тоже терять было нечего, вот и язвила, как по маслу...

Аскольд Курицын – гениально звали нашего соседа по коммуналке. Был он вор в законе, профессиональный, серьезный, хорошей выучки домушник. Часто сидел, богатая татуировка, жилистые, с утолщением к плоскому ногтю руки умельца... Однажды с небрежной простотой маэстро он открыл нам какой-то ничтожной ковырялочкой захлопнувшийся массивный английский замок. За пять секунд управился, к ужасу моей матушки. Не думаю, что Аскольд глубоко страдал от несоответствия имени и фамилии. Однако роковым образом стилистическая непоследовательность, склонность к смешению жанров была присуща ему и в жизни. Как все-таки Аскольд, он был склонен к театральности. Рвался, как испанский гранд, зарубить подругу жизни Люську. Было за что: «шпана, сявка!» – смертно оскорбила она его, вора в законе. Аскольд упорно не воровал серебряные ложки, забывавшиеся нашей растяпистой семьей на кухне, и даже проявлял заботу об их сохранности: «Уж вы, это... не бросайте ложки-то на кухне. Ко мне же, вы знаете, гости ходят...» Стараясь не материться и говоря от этого медленно и с натугой, Аскольд просил у моей мамы дать почитать Мопассана (откуда узнал?), считавшегося в те годы отчетливо порнографическим автором. Мама из тонких педагогических соображений Мопассана не давала, а подсовывала для смягчения Аскольдовых нравов сеттон-томпсоновские чувствительные «Рассказы о животных», от которых тот вяло отказывался.

С другой стороны, он, будучи несомненно Курицыным, часто и бездарно напивался и безо всякой фантазии гонялся с кухонным ножом за любым милиционером, попадавшим в поле его зрения, с воем: «Убью-у-у, падла!»

Почти вывелись по России еврейские имена. Называют младенца Андреем. В честь дедушки Абрама Самойловича. Отчего же тогда не Василием или Константином, например, в честь того же почтенного ребе Абрама? А все просто – в имени Андрей больше букв совпадает. Такая вот каббалистика и пифагорейство. Бородатые, с суровыми ликами Абрамы, Давиды да Самуилы порой встречались в вымирающих заволжских староверческих селах. На них эти имена смотрелись по-другому, и морщины располагались не лучиками от глаз, как у маминого родственника Семен-Соломоныча, а стекали вниз по щекам темными бороздами.

В конце семидесятых, на фоне взмывшей эмиграции и всенародной страсти ставить точки над «i» молодые джинсовые еврейские и полуеврейские супруги круто взяли лево руля – в сторону национальной гордости. Запищал в колясочке у московских отказников Натаниягу Мешков, хохоча гонялись друг за другом вокруг знаменитого ладиспольского фонтана подзагоревшие, голоногие Лиечка и Ревекка. Лиечка, как и положено, пушисто-рыженькая и остро-зубая – золотистый мышонок. А точеный профиль и мягко-тяжелое вороново крыло волос Ревекки, обводящее латинской «S» смугло-розовую щеку, были пересказом ее торжественного древнего имени.

Жаль, что американские имена для меня в подавляющем большинстве безличны – без вкуса, цвета и запаха. Кто не Джон, тот Джо, если, конечно, не Джек или Джим. Остальные – Джорджи или Дэвиды. Обаятельную преподавательницу английского языка звали именем, приличным для большой зеленой мухи: Баззи. Случайно выяснилось, что ее настоящее имя Дэниэл. Данила, стало быть. Для дамы не очень-то, но уж лучше, чем Баззи...

Синтия – наша знакомая. С макушки до пят американка серьезного достатка и дизайнера семидесятых годов – на поджарой фигуре болтающиеся фиолетово-оливковые одежды, отчетливо дорогие. Крупный накрашенный рот, гремучие металлические клипсы и бусы. Рассказываю ей о российских коммуналках, слегка смягчая подробности.

– Неужели даже дантисты живут там в «шелтерах»? Невероятно! – закатывает в ужасе глаза.

– Это не «шелтер» для бродяжек, Синтия. Это просто обычная квартира с соседями.

– Но они же, видимо, пользовались общей ванной! Кошмар!

– Не пользовались. Ванной не было.

Она мне, кажется, не поверила. Отнесла за счет обычной склонности диких народов к немотивированной лжи.

Приходит сияющая: «О, Джин (это я – Джин, ну пусть), в газете написано, что вашего Троцкого реабилитировали. Не прекрасно ли!» Огорчается – отчего это мне не прекрасно. Синтия. Естественно, с «ти-эйч», что русской транскрипцией не передать. Мама стала звать ее просто и понятно – Синяя. Синтии это, конечно, все едино, но мне почему-то было ее жаль. После проведенного урока фонетики она превратилась в Финфию. Того не лучше. Но на этом, как показал опыт, следовало остановиться. Однако мое дурацкое стремление к адекватности привело к тому, что я потратила еще полчаса на усиленные упражнения. Хищно щерилась, высовывала язык, мыча показывала пальцем на верхние зубы, наглядно прижимала к ним язык, сипела, как змей – вся эта клоунада в честь «ти-эйч» имела целью оградить леди от невольных оскорблений. В результате мама начала ее ласково называть Сцынтия, отказываясь при этом наотрез от дальнейших упражнений.

А вот маленькая история, основательно подпортившая мне детство – и только имя мое в этом виновато. В тот день соседка по парте Любка Гусева на первом уроке (география была) прошептала:

– Женька, я какой секре-е-ет знаю! Только дай чесно-пионерское, что никому. Ага? У нас в доме девчонка вчера в мальчишку превратилась.

– Врешь, не бывает.

– А вот и бывает! Вышла во двор стриженная и в штанах – полностью мальчишка. Вчера еще девчонкой была. Чесно-сталинско, чесно-ленинско! А что ей? Шурка звали, ничего и менять не надо! Шурка – что мальчишка, что девчонка. Шурка, Шурка, и все – запросто!

Доводы были действительно гранитные – крыть нечем. И тихий страх проник в мою душу: ведь мое собственное имя, Женя – было в этом смысле ничем не лучше Шурки и несло в себе явную угрозу кошмарного перерождения.

– Люб, а это с каждым может случиться? – с замиранием сердца прошептала я.

– Конечно! – и захихикала, противная.

Что ей не хихикать! При таком-то имени на всю жизнь гарантия – девчонкой останешься, ни в кого не превратишься.

– Любка, а как это... ну, узнать, что уже мальчишка? Господи, вдруг я уже?

– Да уж узнаешь, – загадочно пообещала она.

В этот момент география по прозвищу «Нинка рыбий глаз», взвизгнув, трахнула кулаком по столу и поставила нас с Любкой стоять столбом. Как будто ее дурацкие разглагольствования, отчего бывает зима (от холода зима бывает!), мне сейчас важнее всей моей жизни. После звонка Любка со своим точным знанием куда-то ускакала, а я несколько лет маялась тайным страхом, пока прямые и неоспоримые факты не убедили меня, что при всей двусмысленности и шаткости моего положения (я еврейка, и у нас дома Сталина ненавидят; мой папа не военный, и дедушка, мечтающий «взять патент», почему-то не брал Зимний) все же я с женской ипостасью моего имени одержала победу над ипостасью мужской. Камень с души!

Смешно?.. Вам кажется, что имя – это просто сочетание звуков – журчащих, тягучих или резких? Нет, имя – это Слово. И насколько женская судьба Софьи, Сонечки спокойней, чем крутые петли сюжетов женщины Веры, где спотыкается «в», недолго льстит и ласкается «е», остановленное перекатом «р». Житейское лукавство Якова – и уступчивость звучания его имени. Цепкое упорство практичного Леонида. Если несколько раз медленно повторить это

имя – оно зазвучит как надо, по-гречески. Заскрипит уключиной весла триремы тех простых времен, когда торговля и пиратство считались одним и тем же бизнесом... Ирины зачастую экстравагантнее Татьян и предпочитают серебряные украшения золотым. И неизвестно какую из многих очерченных так мощно ролей выбрать девочке Марии, Мари, Мэри, Мириам.

В желтой субмарине

Очень глубокое метро имени Ленина в городе Ленина, который нынче перекинулся в Санкт-Петербург Ленинградской области. А за завтра никто не поручится. Самая глубокая из станций – Василеостровская. Едешь-едешь-едешь к центру Земли. Уж что-то должно показаться – пора, давно покинули поверхность. Судя по глубине, должен быть ад уже. Но эта шутка чем-то неприятна. Монотонно наплывают и уплывают поперечные дуги на потолке, ничего внизу не показывается, только безнадежный белый скос уходящей вниз трубы, куда тебя черная лестница затягивает, всасывает, вбирает неумолимо, а ты стоишь покорно. Ах, лучше, лучше бы на трамвае. В следующий раз, если все обойдется, – только на трамвае! Вдруг вообще никогда этому спуску конца не будет? Поэтому на эскалаторе много упоенно, с закрытыми глазами, целующихся – особенно при спуске. Те, кому не с кем целоваться, отрешенно вглядываются в лица возвращающихся оттуда. Подымающиеся же, наоборот, суетны, полны разных мелких надежд и уже заранее входят в образ юрко ныряющего в магазинно-трамвайные завихрения пешехода – чего ради перед этим так целоваться? Или – еще глупее – ловить смутные взгляды спускающихся. Дел полно, жизнь и яркий день наверху, все еще открыто, можно еще успеть.

В самом конце, в жуткой глубине, не ад, а банная голубая плиточка, резиново-пресный метряной запах, безличный, больничный свет. Зеленоватые лица. Друг на друга не смотрим, отводим глаза. И не узнать никак, подходит ли уже поезд, – перрон глухо отгорожен от дороги черными железными створками. Отцеловавшиеся на эскалаторе, опустив руки, маются перед дверьми молча. Но есть надежда – железные двери с шипом разойдутся и – сливочный желтый свет вагона, дерматиновые диванчики, надышанное сбившимися в этом пенальчике людьми тепло – милый дом в непогоду. Туда, туда, скорее! Поехали!

«Василийостровск! След станц Гастиный двор! Две-е-ери закрываются!»

Всем нам в одном направлении. Неодобрительно читает новомирскую литературную критику ленинградская, вся в сером, интеллигентная дама. Двое одинакового роста, в одинаковых тертых джинсах, пегих сосулечках волос, очках, куртках и длинных грубовязанных шарфах, но отчего-то совершенно ясно – разнополы. Только непонятно, который из них кто. Но это уже мелкие придирки, несущественные детали. Видимо, решением этого вопроса озадачен уставившийся на них маленький нежнолицый узбек в негнущейся шинели и наждачной кирзе. Ему бы золотой сафьян, мягкий, как губы коня, шелковые узорные одежды, волшебный темный рубин на узкую руку.

На сдвинутых острых коленках парочки магнитофон – с песнями следуем к станции «Гастиный двор». Битлы, что и следовало ожидать, но не слишком громко. «We all live in a yellow submarine, yellow submarine, yellow submarine». На парочку стервозно-педагогически косится сизая тетка с рекламной полиэтиленовой авоськой «Русский сувенир». Оттуда с мольбой и угрозой тянутся вверх сине-перламутровые скрюченные когтистые пальцы, как будто она прибрела портативного Вия – русский такой сувенир. Принесет домой и сварит для семьи куриную лапшу – как хорошо и питательно! Плохо только, что молодежь разболтанная, неуважительная растет. Куда комсомол, куда семья смотрит? Патлы немытые, нечесанные. Девушки молодые – тьфу! – в штанах, зады обтянуты, целуются при всех как – стыдно сказать – проститутки. В молодежном журнале про половую, извините за выражение, жизнь расписывают. Срамотища! Как, бывало, красиво – косы с бантом, платице скромное чистое, белые носочки. Дружили хорошо. Песни пели мелодичные про любовь. «На позицию девушка», «Синий пла-точек»... не то что эти... «ела суп Мари». Мари-то может и ела суп, а вот вы что, голубчики, наварите? Какой такой суп? Ведь к ним с добром, с советом, – куда там, и слушать не хотят. Что будет?..

Несется и подрагивает за окнами быстрая летучая горизонтальная чернота, отражая наши ставшие в дороге грустными и откровенными лица, – моментальный, текучий групповой портрет – вот оно, наше поколение, от станции до станции Невско-Василеостровской линии. Отраженные лица всегда красивее, чем в действительности.

Что такое? Свет в вагоне мигнул, вполтину притух, потом совсем поскущел, и состав, завязнув в плотной темноте тоннеля, затормозил и стал. Кулем ваты обрушилась, оглушила тишина – не слышно уютного, как сигналы сердца, постукивания, нет успокоительного для горожанина гула налаженного безопасного движения. Только громче подростковыми надрывными голосами: «Ви ол лив ин э йеллоу сабмарин, йеееллоу сабмарин...» – ну что они понижают, ливерпульские лохматики, про нашу жизнь? Интеллигентная читающая дама продолжала скептически улыбаться – постановка проблемы положительного героя в прозе последних лет ей решительно не нравилась.

В пещерной тишине битлы звучали кощунственно. Парочка, почуяв, выключила магнитофон. «Йеллоу сабмарин» – обиженно крикнули они в последний раз, и с крайнего сиденья – стало слышно – шепотом:

- Мама, скоро поедem?
- Скоро, детка.
- Как долго уже!
- Скоро, детка.

Действительно, долговато уже. Ненормально долго. Перестала улыбаться академическая дама, не прекращая пристально смотреть на страницу при беспомощном, обессиленном свете. Замедлилось время. Остыло, подступило вплотную и стало давить пространство, подмывшее звуки. Хриплые голосовые связки жизни, щелястые вагонные динамики, подайте голос, утешьте! Не молчите, скажите скорее что-нибудь. Например, что жизнь будет продолжаться вечно. Что будет еще и будет восхитительная очередь за индийским чаем «со слоником» в раззолоченном Елисеевском и всем достанется. Будет опять и улица, и подъезд с ласточкиными гнездами почтовых ящиков, и детский праздник взрослых Новый год, и старинный запах gobеленов в Эрмитаже, который сейчас так высоко над нами. Скажи, ну скажи, динамик, что громадное, пустое и удушливое, наполнившее, как белая вода, наш маленький беззащитный вагон – просто мелкая техническая неполадка, сушая чепуха, сейчас поедem. И эта первобытная, лишенная содержания чернота за окном, и оглушительная тишина – тьфу, какая чушь в голову лезет, нет-нет-нет, неправда – просто упало напряжение в сети на подстанции. Сейчас все исправят, скоро поедem.

Над хрупким кремовым потолком нашей коробочки – яичная скорлупка бетона, а выше – многотонной тушей навалилась и давит Нева. Стало душно, но нельзя расстегнуть пуговицы пальто – все увидят и поймут, как мне страшно. Напряженно уставилась в «Новый мир» дама. Не переворачивая «Известия» – вдруг зашуршит – замер, опустив глаза, толстый в очках. Не шевелясь застыла – колени к коленям – джинсовая парочка. Совсем жарко, стал мокрым лоб, но немисливо лезть в карман за платком. Не двигаться. Только бы тетка с курицей не закричала. Сколько же времени прошло? У каждого на руке часы, но нельзя на них смотреть. Скорее всего, они остановились, но видеть этого не надо никому. Хотя и так все знают. Времени нет, мы вцепились в последнее мгновение, мы удерживаем его, – оно такое хрупкое и тяжелое. Над нами – Нева или, может быть, уже ничто? А мы в этой коробочке – забавные мошки, впаянные навечно в пузырик янтаря. Под чью лупу попадем? Дурацкие мысли – конечно же, там нормальная Нева с мостами, над ней воздух, солнце, и живые птицы летают – все будет хорошо, все будет хорошо, все будет хорошо...

Молчат динамики, темнота стоит рядом, терпеливо ждет своего часа. Душно. Какое там время года – наверху? Сейчас кто-нибудь страшно закричит – это будет конец. Напрягшись, держим время, держим молчанье, как штангист держит вес – с налившимся темной кровью

лицом. Только бы тетка с курицей... Но нет, не вскрикнет: маленький узбек вбил ей кляп своего жестко сфокусированного взгляда, загипнотизировал, заморозил тот вопль, от которого забьются, закричат все, и наступит хаос, кошмар, ужас, ничто. От этого визга упадет и рассыпется то, что мы молча держим на весу, и все кинутся к дверям и окнам, давя, кусая, страшно гримасничая. И то, о чем нельзя думать, явится жутким ликом. Но не моргает узкоглазый узбек, и тетка безвольно покачивается в такт вялым пульсациям своего мозга. Мертвая птица в ее сумке тянет лапы вверх, вопиет к куриному богу. Из всех сил напрягается, сжимает свою сумочку сероглазая рыженькая рядом, даже побелел ели костяшки суставов. Желтыми яблоками ходят желваки на лице высокого с неприятным лицом... Со лба небритого Атланта в кожанке вьется струйка пота – тяжела Нева, набухает сердце от омертвевшего времени. Молчи, молчи, терпи, девочка в том углу, ничего не спрашивай, не надо. Не помогай, мы сами удержим, – только сиди тихо, только не вскрикни! Ты видишь – стараемся! Господи, дай нам сил!!!

Сколько угодно спустя, бесконечность спустя, полжизни спустя вагон легко вздрогнул, слабый резиновый ветер чуть тронул спасенную нами секунду, она проскочила скользкой таблеткой, и поплыла назад чернота тоннеля. Тихо-тихо, медленно, осторожно и мягко покраслись, поехали из-под Невы. Вытянули! И не общий вздох – а-а-ах! – общий выдох.

О чем нам теперь говорить? Да мы и незнакомы, собственно. Следующая станция – «Гостиный двор».

Белые ночи на Васильевском

Постаревшие мои ровесники пожимают плечами: чего вы, милая, хотите от власти? Власть как обычно – порядка как не было, так и нет. Похоже, и не будет. А вот белые ночи стали не те, не узнать просто. А тогда были – ах, хороши! Советский Ленинград, обретающий ночами надменный лик имперской Северной Пальмиры, не спал. Мы с Ирккой тоже не спали. Как спать? – светло же. Лежали в халатах на наших общежитских, на наших аспирантских, на панцирных наших коечках и обсуждали «собачий», как выразилась Ирка, роман ее престарелого шефа с молодым настырным парторгом. Я предложила – исключительно с целью избежать двусмысленности – называть похитителя шефова сердца парторгиней или парторгессой. Кандидатка в члены партии Ира, не исключая для себя возвышение до аналогичных командных высот, отвергала и тот и другой термин как порочащие. С другой же стороны, многократно называла партийного лидера кафедры гадюкой семибатовшной, стервой и того еще почище.

О чем и разговаривать как не о любви в такую светлейшую ночь, когда наш Васильевский остров, «стерев случайные черты», легок и чист, как гравюра большого мастера и истончившаяся тень Блока бродит по набережным, боясь приблизиться к метро.

– Законной супружнице шефа, ты ж понимаешь, позвонил доброжелатель, та – скорее бумагу в партком. Ну и поехало с орехами! Ожидается пикантная персоналка – парторг кафедры в роли женщины-вамп. Шарман манифик! – у Ирки был волнующий, с бархатной лентой голос. Она дописывала диссертацию по теории пионерской символики. Об определяющей роли горна и отрядной песни в формировании миросознания строителя коммунизма. Была соответствующая кафедра в университете, где взбивали эту пену из воды и дерьма. Тем и жили. И под новым демократическим начальством тоже не растерялись – четко выполнили команду «кругом марш!» и продолжают в том же составе. Еще и за дешевле.

– Интересно, из партии масюню эту выпрут или только из парторгов? В любом случае карьере полная финита. Любовь – не вздох на скамейке. Докторской не видать как своих ушей. Шеф – стреляный парниша, покается где надо, посулит кой-кому кое-что. Не впервой. А соблазнительницу – в оправдомы. И будет у нас на кафедре маленькая, хорошенькая вакансия... Кому достанется, интересно...

– Мо-лод-цы! Ле-нин-цы! – провыла я гнусаво. Партийно-производственный роман озлоблял.

– Антисоветчица ты. Издеваешься. И нарвешься, – вяло отреагировала Ирка. – Кроме того, зачем мои бигуди брала?

– Три-четыре! Рраз-два! Кто шагает дружно в ряд? Кстати, почему если эту вашу кретинскую речевку проорешь ты, причем хамским тоном – то это пионерская символика и большая куча патриотизма, раз-два! А если, три-четыре, произнесу я – причем, заметь, тихо и вежливо. В отличие от пионервожатой, тихо, заметь, и вежливо – то выходит, что издеваюсь над большим вашим и чистым. Ты ж у нас, Ирина Сергеевна, на три четверти кандидат педагогических наук, – объясни мне такое жуткое единство противоположностей. А бигуди тебе как теоретику пионерского движения не нужны – душа должна быть, товарищ женщина, красивая. Ее на бигуди не накрутишь. И руки чистые, то есть без маникюра, тем более такого облезлого. Возьми у меня ацетон в тумбочке, сотри. Воспользуйся похищенной мною из лаборатории социалистической собственностью, я добрая.

Дразнить Ирку иногда было хорошо. Она грудью бросалась на амбразуру моей ереси. Особую приятность доставляли приводимые в посрамление меня примеры из жизни. Жизнь, усердно кивая, подобостратно подтверждала ее пионерчатые аксиомы, как будто она была ассистенткой их кафедры перед пенсией. У нас же, химиков, жизнь в форме неживой материи то и дело проявляла отчетливый сволочизм, не желая поддержать предлагаемую ей теорию. Грубо

и нелюбезно... От этого развивались цинизм и злопыхательство. Но сегодня Ирка была какая-то вялая, политически малоазартная. Ветер в окно, далекие звуки с Невы, белая ночь, чужая недозволенная любовь... Возмутительно расслабляет.

В дверь постучали.

– Вот видишь! Уже за тобой в штатском пришли. Иди вот сама и открывай.

В дверь шагнул аспирант Бенджамин в штатском, с портфелем и двумя бутылками ноль семьдесят пять. Он твердо поставил бутылки на пол, сел и запел: «Этот день победы порохом пропах! Это сча-а-астье со слезами на глазах!» И вынул из портфеля за горлышко третью! «Со слезами на глазах», – повторил он речитативом и захохотал, как фальшивый Шалапин. Ира медленно встала и сунула валявшийся на столе бюстгальтер под подушку.

– Веня, ты пьян? – задала она странный вопрос.

– Ирэн, ты знаешь, как я тебя уважаю, но со всей искренностью должен признать, что Женьку я уважаю еще больше, – уклончиво ответил ночной гость и снова разинул рот для пения.

Бенджамин уважал меня по двум причинам. Во-первых, однажды я внятно, грубо и примитивно разъяснила ему разницу между стандартным и нестандартным термодинамическим состоянием системы. Бенджаминова кафедра, а с нею и он, аспирант Вениамин Лисин, занималась повадками весьма вонючих, но перспективных в рассуждении защиты диссертации полимеров. Их давили высоким давлением, парили в атмосфере азота, подтравливали хлором. Строились графики, отражающие мученическую судьбу и гибель полимера.

Бенджаминов шеф Павел Олегович Ляпунов, по-лабораторному Поля, был кокетлив в науке и желал нравиться. В те поры пошла мода на термодинамику. Без энтропии в свете было не показаться – откажут от дома. Раз такие дела – вздохнули и побрели коллективом по термодинамику. Коня, стало быть, и трепетную лань в одну телегу. Налаженная машина производства диссертаций засбоила. Теория высокомерно не желала сходиться с практикой. А практика, почуяв чуждую теорию, стала вставать на дыбы, рвать удила и шараться. «Атас! Полный распад теории Поля», – констатировал Гоша, который в рассказе больше нигде не появится. Я даже сначала хотела вымарать Гошу ради правильности построения сюжета. Но потом подумала: Гоша – это ружье, которое, бесспорно, не стреляет. Мне нравятся такие ружья. А сюжет – дело спорное. Таблица умножения, например, сюжетом по всем параметрам блещет. И стройность, и логика, и лаконизм, и узнаваемые персонажи, и развитие темы...

В то тяжкое для Бенжамина время я его и выручила, подсчитав ему кое-какие величины. Нет, не была я светочем науки и гением вселенской доброты. Я просто каждый день такие штуки считала от утра до темноты. Могла считать их в обмороке, в шоке, а также примеряя сапоги. Жалко мне, что ли, для своего брата-аспиранта пару констант прикинуть? Но он неожиданно заужавал мою ученость – из чего в сотый раз видно, что успех не адекватен усилиям.

Однако, по-настоящему Бенджамин оценил мои таланты на какой-то общежитской посиделке, когда я элементарно открыла бутылку портвейна без штопора. Завистливая Ирка в ту же секунду отсекала слово «талант» и надменно отметила, что это по ихней науке классифицируется лишь как «знания и умения». Что ж – и это неплохо, берем! Всякий знает, что корковая пробка отделяется от бутылки так же неохотно, как душа от тела. Я обычно практиковала старый нижегородский способ: берете самый толстый том по теории марксизма-ленинизма, прикладываете к стенке («Марксизм-ленинизм к сте-е-енке», – говаривал при этом один такой Аркадий Сергеевич, обучавший меня этому приему), затем мягко, методично ударяете доньшком бутылки о заголовок. И тут гидродинамика и марксизм-ленинизм показывают свою силу и пробка с каждым толчком аккуратненько – тюк-тюк-тюк – любопытным зверьком вылезает из бутылочки. А когда она уж почти вся снаружи – элегантно закрутом легко вынимаете ее, делаете театральный жест свободной рукой и собираете заслуженные аплодисменты. Наука нехитрая, и многие ее превзошли.

Но Бенджамин, хоть и был узкокостый брюнет разочарованного вида, однако происходил из Сибири, и многие достижения восточноевропейской цивилизации были ему в диковину. Метод потряс его. Ах, если бы я тогда знала!

– Со слезами на глазах, – допел Бенджамин и просто сказал: – Поздравьте, девки, у меня пошло! Назло пошло, когда уже не надо. На всю катушку прет эксперимент! Все данные ложатся четко в график. Но мне, сейчас все это дело на фиг! Аспирантуры-то осталось с гулькин нос! Коту под хвост ухлопал я два года!

– Ну поздравляем! Даже стихами заговорил! Как славно, Веничка! А то уж говорят, даже хотел жениться на какой-то с Обводного канала. Теперь Поля тебе продлит срок аспирантуры! И совсем не на фиг! Поэт ты наш! Поэт и ученый! – радостно залопотали мы с Ирккой.

– Это сча-а-астье с сединою на висках! Это ра-а-а-дось! – Бенджамин был далеко не Паваротти, уж не говоря о Киркорове.

– Веничка, хватит, ты уже нам спел. Ну стало все получаться – и хорошо, и отлично. И та, с Обводного канала, теперь нам тоже не нужна. Сырок плавленый хочешь с булкой? – попробовала Ирка перевести разговор в бытовую плоскость.

– Ты в ответ на обеща-а-анья дверь не отво-о-оря-яй, – уже совершенно безо всякой логической связи с происходящим, оперно закатив глаза, проорал Бенджамин. – Евгения, смотри, как надо! – вдруг быстро сказал он, взял бутылку и пошел, держа ее решительно донышком вперед, к стене. Я, обмерла, поняв, что Бенджамин сейчас повторит нижегородский способ открывания бутылки. Но без помощи классиков марксизма – на голой стене и геройским ударом. Читателю уже ясно, что Бенджамин применил именно этот способ и именно одним (господи, что делает!) ударом. Кровь и вино оказались, как это справедливо подчеркивается в романтической поэзии, одного цвета и хлынули на стоящий под стеной столик. А на столике – о, кошмар! о ужас-ужас! – лежала взятая Ирккой на неделю с целью плагиата Чужая Диссертация – четыре девственные стопки еще не переплетенных машинописных листов.

Мы с Ирккой заорали и бросились одновременно, а Бенджамен стоял тихо, зажав в поднятой руке обломок бутылки – в позе Ленина с кепкой. Дальнейшее – в виде кадров.

Я, раскладывающая на своей кровати кроваво-винные листы Чужой Диссертации. Жалкие попытки что-то оттереть полотенчиком. Косо, как Арлекин, сидящий над тазом белый безмолвный Бенджамин с протянутой красной рукой. Плачущая Ирка накладывает на Бенджамина жгут из подвернувшихся колготок (обучена санитарной помощи пионеру) и иногда со сдавленным стоном бросает взгляд на окровавленную, опозоренную (вот что с ней теперь делать?!) Чужую Диссертацию. И отдельно – эмалированный тазик с красным на дне, тускло освещенный млечным не дневным и не ночным светом. Впрочем, ночного света не бывает. И в тазик жутковато и мерно: кап-кап-кап. Настоящая, между прочим, кровь.

Бенджамин готовился упасть в обморок – мужчины как-то иначе устроены в этом отношении. Представительницы слабого пола иногда твердо обещают упасть в обморок, но по-настоящему удается редко. Мужики этого не обещают (я, по крайней мере, не слышала), но порой оказываются в самом неподдельном обмороке от пустячной потери крови или при ударе зуба и этим ставят окружающих женщин и дантистов в затруднительное и порой ложное положение. Бенджамина следовало срочно отправить в травмопункт. Травмопункты в Ленинграде работали круглосуточно, и был один неподалеку, на Васильевском. Кажется, на Пятой линии, в мрачном здании, где над вонючим подъездом неуместно манерничали модерном каменные лилии. Туда и потащила я бесчувственного Бенджамина. Ирка осталась замывать кровь и оплакивать Чужую Диссертацию, как свою родную.

Я помнила, как в родимом Нижнем фабричные бабоньки доставляли домой своих назю-зюкавшихся в синеу супругов. Ручку-то его себе через плечо и тяжесть принять на бедро – легко пойдет. Опыта у меня не было ни капли, но я постаралась войти в роль – и, знаете, получилось. Даже с гордостью поймала на Бенджамине завистливый взгляд грустного чело-

века, который пробирался по проспектам, держась за стеночки, с привалами на ориентацию в пространстве. Еще бы – это каждому бы хотелось, чтобы его так вели!

Было тепло, безветренно, и длинные облака застыли в кротком небе. Зеленые тени от домов так доверчиво лежали на асфальте, что совестно было на них ступать. Казалось, их можно поднять с земли и прислонить к стене, как большие куски плоских картонных декораций. Я приноровилась к тяжести Бенджамина, он даже помогал мне, слегка перебирая ногами, и я чувствовала к нему нежность. Была его женой, сестрой и матерью. Нет, не позволю Бенджамину погибнуть – не для того я на себе вынесла его, истекающего кровью, к травмопункту Васильевского острова.

Травмопункт бодрствовал. Из его недр на мой крик: «Эй, кто-нибудь! Больного привели!» (надо бы сказать – «раненого», но я застеснялась) возникла женщина в белом. Такая, как рабочий и колхозница вместе взятые. Сняв с себя Бенджамина, я одновременно стряхнула и роль русской пролетарской жены – кормилицы, воительницы, а также героической фронтовой сестрички. И моя истинная сущность – неуверенная и рефлексирующая – перехватила эстафету и вылезла, хоть никто ее не просил, на авансцену.

– Видите ли, доктор, тут аспирант нечаянно поранил руку стеклом! – противным кисло-сладким голосом заблеяла я, подсознательно надеясь, что пострадавший, будучи все же не дворником, а аспирантом, окажется ей, представительнице, как ни говори, интеллигенции, социально милее.

Не удостоив меня взглядом, женщина ухватила широкой ручищей вялую лапку Бенджамина.

– Не стеклом, а бутылкой! – хрипло рявкнула она, бросила уничтожающий взгляд на скрученные жгутом Иркины колготки, перетягивающие Бенджаминово предплечье, и повлекла моего бедненького за белые ширмы. Вытаскивать – очень больно – кривыми щипцами куски стекла прямо из живой руки и потом шить. Шить собственными руками человеческую кожу! Ей, пирамиде египетской, это, уж конечно, раз плюнуть. Шьет себе и шьет, как юбку.

Бенджамин появился минут через сорок вовсе не из той двери, которую я сверлила взглядом. Опавший с лица, но на своем ходу.

– Пролил кровь за науку. Жить буду, хотя танцевать – вряд ли...

Господи, еще и шутит! Раненый наш! Рука в бинтах подвешена на какой-то тряпке. В другой руке зажата колготина Иркина, не забыл! Каков джентльмен!

– Пошли, Веничка, все будет великолепно! Будем кандидатами и ты и я! Все там будем! Гляди, проректор по хозяйству, чистый барбос по всем статьям, – и тот кандидат каких-то партийных наук... Веня, а хочешь я подарю тебе импортный штопор? Почему не бывает? Достану – я одной завмагше-заочнице две контрольных по химии делала. Либо штопором, Веня, либо об марксизм-ленинизм. Третьего пути, дорогой товарищ, нет. Потерпи, уж скоро придем, Веничка!

Белая ночь переплывала в утро, свежее как... ну, в общем, очень свежее было утро. Вчера в угловом магазине давали корюшку, и выброшенные на асфальт дощатые ящики благоухали парниковым огурцом – так удивительно пахнет эта весенняя серебряная рыбка. Еще пахло близкой рекой, травой с газона, молодыми листьями. За спиной, за угрюмой от нежности Невой, лежало Марсово Поле с холодными, тугими пружинами сирени, и от этого шагалось весело и упруго. Даже немного стыдно было, что мне так хорошо: ведь только что Бенджамину кромсали руку.

Проехал фургон и обдал ароматом бензина и хлеба. Небо засветилось розовым китайским фарфором. Какая-то птица упорно и отчетливо повторяла ивритскую фамилию: «Цви! Цви!.. Га!.. Цви!» Жаль – ни одна птичка не в состоянии повторить мою фамилию. Даже смешно себе представить птаху, которая, сидя на ветке, орала бы: «Павловская! Павловская!»... А впрочем, не жаль. Не судьба, значит.

– Ну как ты, Веничка? Сильно болит? Уже не очень? Скоро все пройдет. Шрамы украшают мужчину, особенно в сочетании с ученой степенью. Дамам нравится. Незаметно, как дошли, правда? Сейчас зайдем к нам с Иркой – чаю крепкого заварим. У нас настоящий цейлонский есть.

– Так ведь у нас там, Жень, это... еще две сухого остались. Я ведь только одну... ну... открыл.

Ирка уже не рыдала, а только жалобно всхлипывала, стараясь не глядеть в сторону разложенных для просушки листов – покоробленных, в бурых потеках. Полы были чисто вымыты и поперек открытого окна повешен сушиться отстиранный от пятен крови халатик – растопырил свои голубые крылышки несовершеннолетнего ангела. Беднягу Бенджамина усадили на лучшее место, имелся у нас один такой непродавленный, специально гостевой, стул. Мы пили дешевое, как ветер с Невы, сухое вино из кружек и закусывали плавленым сырком с булкой и остатком кокосового ореха.

Его подарил мне неделю назад аспирант-историк из Африки, царский сын Сулейман Ба. Половина того царского подарка со шкуркой мохнатого лесного зверька долго служила пепельницей.

Утомленный вином, интенсивным вокалом и кровопотерей Бенджамин кротко уснул в нашей комнате на Иркиной кровати. Она, сидя за столом, голова на распластанных руках, долго, прищурившись, изучала его лицо.

– Жень, а ведь он красивый, посмотри, какие брови, – выдохнула Ирка голосом для особых случаев. Я отлично знала этот голос – она часто пользовалась им прошлым летом, убеждая меня в массе достоинств абсолютно среднестатистического Юрика: «Нет, ты не понимаешь. Ты просто не хочешь видеть! Он необыкновенный Сумасшедшее обаяние! Фигура!» – пока на финише бурных отношений не сообщила нормальным своим бархатно-ленивым контральто: «Самец. Свинья заурядная. Амеба. Протоплазма». Мне, помню, тогда понравилась логическая последовательность определений. Все-таки в научной женщине есть свой негромкий шарм.

– И вообще, он такой... чистый.

– Ира, ты это всерьез? – обеспокоилась я. Бенджамин безусловно испаскудил Ирке Чужую Диссертацию и заслуживал суровой кары. Но не до такой же степени! И что за скоропостижная любовь на крови?

– А ресницы – дли-и-инные, – задумчиво пропела она тем же опасным голосом.

– Ирка, очнись, ведь ему сейчас некогда! Целый день, бедняга, в лаборатории. Аврал же у него! Пожалей! Да и ты тоже... юные ленинцы ждут же твоей диссертации, как мои предки манны небесной...

– Аврал... на Охту ускакал, – обозначила ситуацию Ирка, длинно, сладко потянувшись и набросила на обескровленного Бенджамина свой халат.

Но он не пробудился, не помчался на свой безопасный третий этаж длинными скачками с разинутым в квадратном крике ртом, как древний классический грек от амазонки, или как это бы сделали вы, благомыслящий и осторожный читатель. Он, доверчивый, посапывал и не ведал, что это его будущая жена, его непростая судьба и, как в песнях поется, трудное счастье стоит и смотрит на него золотыми глазами рыси.

Морис и Сулейман, афроафриканцы

В Ленинградском университете училось иностранцев порядком – город открытый, университет престижный. К тому же иностранцы имеют полные карманы валюты, что университету по его скудости не лишне. Да и державе изредка хотелось и людей посмотреть, и себя показать. Что и удавалось – на радость злостным западным писакам, продажным очернителям нашего прошедшего светлого настоящего.

Морис и Сулейман приехали изучать химию из Гвинеи. Каждому хочется произнести при этом «Бисау», приятно закруглив звук. Но нет, из никакой не Бисау, просто из Гвинеи. Если посмотреть на треугольник Африки, то в левом углу этого громадного плавающего сердца, за надменно отъехавшей краюхой Аравийского полуострова, не желающего быть Африкой, мы обнаружим просто Гвинею в виде рембрандтовского берета, натянутого на мелкое личико Сьерра Леоне. А Гвинея, которая Бисау – брошь на этом развесистом берете, который велик малой вишенке Леоне.

Морис и Сулейман своим родным языком считали французский, на нем и говорили. В связи с этим попал в дурацкую ситуацию белобрысый и долгоносый студент восточного факультета Игорь Горохов (он для благородности требовал делать ударение в своей фамилии на первом слоге). Не пройдя по конкурсу на японское отделение, каковое резко сократили ввиду того, что его выпускники мистическим образом никогда не возвращались из зарубежных командировок, Игорь удовлетворился менее престижным африканским отделением. Африканисты, в отличие от японистов, возвращались обратно почти всегда, если, конечно, их не посылали наблюдателями в ООН. Но их и не посылали. Игорь Горохов из академических соображений, а именно, для совершенствования в языках малинке, фульбе и суахили, напросился третьим в ту комнату общежития, куда жилищный отдел поместил Мориса и Сулеймана. Уже через две недели Игорь скулил по коридорам: «Ну, влип я с ними. Черти необразованные – на французском чешут. Третий мир, блин, им еще до цивилизации ого-го! Родных языков напрочь не знают. Мне, что ли, их этой абракадабре учить? Не жирно ли будет?

Народ соглашался, что жирно. Игорь был безутешен.

– Вечерами рок на полную мощность врубят – ни поспать, ни позаниматься, ни в гости кого позвать. Эх, надо было на угро-финское мне подаваться. Влип, ребята, как зюзя.

Морис и Сулейман влипли тоже и много глубже белобрысого Игоря. Им, сыновьям состоятельных и почтенных родителей, предстояло ехать учиться во французскую Канаду. Языковых сложностей не предвиделось – вокруг родной французский. Малахаи скользкого дерматина с колючей опушкой из серого синтетического каракуля были заботливо приобретены заранее в комплекте с пудовыми суконными пальто на вате. Арктическая экипировка поставлялась в Гвинею из пещер советских неликвидов: братская помощь борющимся народам Африки. Кошмарное обмундирование было заботливо уложено в дорогие чемоданы из крокодиловой кожи.

И надо же, чтобы именно в этот момент Гвинея внезапно сделала резкий скачок влево. Новое правительство, удачно отстрелявшись от предыдущего и передувив оппозицию, заглянуло в пустую кассу и, горестно вздохнув, взяло курс на нерушимую дружбу с Советским Союзом, большим белым братом, щедрым спонсором угнетенных народов мира. Французская Канада накрылась медным тазом.

Однако голос был утешный. Высочайше намекнули чемоданы не распаковывать и малахаи не выбрасывать для гнезд попугаев, а сохранить для поездки в не менее северный, но еще более прекрасный город Ленина, колыбель революции, город дворцов, парков и развитого социализма. Тем более что бытует в Африке такое народное присловье: «Химия – она и в России химия».

Университетское общежитие на Васильевском острове, куда, как куры в ощи́п, попали Морис и Сулейман, занимало крепкое, в стиле классицизма, здание бывшего приличного публичного дома для господ офицеров. На дверях туалетов чудом сохранились тяжелые медные таблички «Для дамъ» с гравированным профилем аккуратно отрезанной дамской головы. На мужском туалете тускло поблескивала дореволюционная медная голова с богатыми усами и призыв – фломастером позднейших эпох: «Мужик, ссы здесь!». Меж этажами пережитком царизма болтался парализованный лифт с чугунными вытребеньками.

На четырех этажах шумно квартировали студенты, аспиранты, стажеры – математики, химики, восточники, с незначительными вкраплениями психологов, каковые в массе своей проживали где-то на Красной, что ли, улице и безудержному течению жизни не мешали. В конце коридора – женская умывалка на шесть мест с холодной водой. Туда мывшиеся голышом из-под крана девки баскетбольного сложения из Восточной Германии однажды, озлившись, затащили мелкого кобелька, стукача-коменданта – не первый раз подглядывал, дрянь такая. Отметелили его от души. Свидетели передавали восхитительные детали. Передний угол общей кухни этажа был занят помойной горой в человеческий рост со снежными хребтами скомканных газет, бурными осыпями картофельных очисток и медленно сползающей к подножию лавой выплеснутого супа. В недрах зловонной горы был погребен бачок для мусора. По четвергам пара салаг-первокурсников, понукаемая матерящимся «синьоре команданте», выгребали лопатами помой в бумажные мешки, терпеливо докапываясь до потерявшего санитарный облик бачка. Потом, кряхтя и отворачивая носы, волокли это вниз. У плиты вьетнамцы с психологического факультета жарили тухлую селедку.

Ну вот, значит, такой был пейзаж. И это я еще его, скажите спасибо, не выписывала подробно тонкой японской кисточкой, а дала размашистый мазок мастихином. Учитывая, что подробный пейзаж, равно как и длиннейшие мистические сны кисло-сладких героинь, многие читатели резонно пропускают.

Морис и Сулейман адаптировались шустро – надо было выживать. Здесь и сейчас. Нынче такой жестокий эксперимент называется «реалити-шоу». Дрожащим от промозглого холода и непроглядного социализма гвинейцам учинили годовичные курсы русского языка, после чего резко рожали длани поддержки.

Моя аспирантская келья на двоих находилась по соседству с комнатой сорок семь, где проживали Морис, Сулейман и африканист-Игорь. Впрочем, Игорь, до изжоги измученный французским, вскоре ретировался на другой этаж. Меня французский не удручал, тем более что он и не был слышен из-за звуковых цунами, сотрясавших нашу общую стенку. Не было на африканцев никакой управы – хоть колотись головой в запертую дверь. Музыкальный террор продолжался, пока не приехал ко мне в гости брат. Фаталисты и некоторые мистические философы, отрицающие причинно-следственную связь, чаще всего просто не в состоянии уловить ее – так далеки, так неродственны порой причина и следствие. Вот, например, приезд брата косвенно, но бесспорно обеспечил мне долгосрочное влияние на местное негритянское население. Следите за цепочкой. Для брата необходимо было добыть раскладушку. Для этого надо было посетить комнату, где жил председатель аспирантского совета, химик, наш человек Султан Агиев, обладавший не султанской, но все же кое-какой административной властью и ключом от кладовки. Я повлеклась к Султану. Из-под Султановой двери донесся жалобный вопль: «О-о-о, Аллах! Потенциал-то, мать его, меняется же! Ты пойми! Не стоит он, потенциал-то, колом! Формулу, блин, Нернста знаешь?» В накуренной комнате голова к голове склонились Султан и Сулейман. Султан пытался втолковать Сулейману решение несложной задачи по электрохимии, на его лбу выступила испарина, узкие казахские глаза расширились и заметно изменили угол наклона. Негр сдержанно улыбался, как британский дипломат на приеме. Ситуация была предельно ясна и, в общем, для меня благоприятна. Судя по раскладу, Султан ни в коем случае

не станет отнекиваться от поисков раскладушки, неоригинально ссылаясь на дефицит времени, головную боль и необходимость обсчитать полученные графики в ближайшие двадцать минут.

Ко времени моего аспирантства я уже имела за спиной солидный опыт преподавания в институте и частного репетиторства, так что мы видали виды. Я была расисткой и не могла ею не быть, прожив много лет в закрытом для иностранцев, как средневековая Япония, Нижнем Новгороде. Конечно в существование людей с песьими головами мы уже, вопреки пропаганде, не очень-то верили. Однако считалось, что интеллектуальные способности черных (на ушко, между нами, девочками) обратно пропорциональны их сексуальной мощи. В наличии этой самой мощи не сомневался никто, хоть экспериментальными данными никто не располагал. Впрочем, вера в эксперименте не нуждается. А все же любопытно проверить: соображает или нет?

– Султаша, сделай милость, разыщи мне раскладушку несломанную. Брат завтра ко мне приезжает. А я тут пока позанимаюсь с... как бы сказать... товарищем.

– Да! Это мигом! Спасибо! Сейчас! – он выскочил, из комнаты, как пробка из нагретого шампанского. Можно было держать пари (если б нашелся простачок такой), что Султан с раскладушкой возникнет очень нескоро.

Оказалось, все до изумления просто. Соображалка у Сулеймана была в порядке. Математические операции он производил умеренно шустро. Проблема коренилась в языке.

И я применила свое старое и безотказно действующее правило: «Строй каждую фразу с учетом того, что предыдущая была не понята». Рекомендовала неоднократно многим молодым педагогам – потом благодарили...

С электрохимией все более или менее утряслось. Сияющий Сулейман пообещал, что он теперь всегда будет обращаться ко мне с вопросами. Вот на это уж я рассчитывала менее всего, но, сделав доброе дело, готовься, дружок, платить. Однако не совсем я ангел бескорыстный – в результате последующих переговоров сторонами было достигнуто соглашение: в обмен на консультации консультируемая сторона обязуется выключать музыку любой громкости, любого музыкального стиля, в любое время суток по первому требованию стороны консультирующей. Возник и побочный бенефит – мне часто в качестве подарка или, скорее, гонорара перепали американские сигареты, что было честно и справедливо.

Через день Сулейман осуществил угрозу – притащил мне в комнату слепо отпечатанную на машинке, прожженую кислотами и окрашенную солями хрома и кобальта папку с описанием органического синтеза.

– Дженья! Здесь нет вода!

Я пролистала методичку. Синтез, действительно, шел в неводной среде.

– Да, верно, воды здесь нет. А зачем она тебе?

– И я говорил, вода нет! Совсем нет вода. Нет!

– Ну да, то есть нет. Нет вода, тьфу, воды. Очуметь можно. В чем проблема-то?

– А зачем здесь написано «отводная трубка»? Ведь нет вода! Я много раз думать. И вчера опять много.

Ох, бедняга – «много раз думать»! Правда ведь, жалко?

– Сулейман, это же от слова «отводить», «удалять». Вода здесь ни при чем, ты прав. Через отводную трубку уходят в конденсатор пары бензола.

– Я всегда говорил – нет вода! – заорал Сулейман, – Морис, палка, нет, как тут говорят... вот... дубила, говорит: вода, вода! Иди, говори ему!

– Сам иди и говори, Сулейман. Только правильно «дубина».

Морис не был дубиной. Просто он, в отличие от хитроватого и очень неглупого Сулеймана, был по характеру типичным деревенским Ваней из сказки – добродушным и беспечным разгильдяем. В тонкости органического синтеза вдаваться не собирался. Зато по врожденному артистизму натуры он быстрее и лучше, чем рационалист Сулейман, приспособился к русскому

языку – чистая интуиция, на уровне звука и ритма. Морис, в отличие от малорослого, синегубого и вообще страшненького Сулеймана, был до неприличия ослепительным красавцем. К нему без зазрения совести можно было применить все изобретенные папашей-Дюма штампы: светло-шоколадная чистая матовая кожа, ослепительно-сахарная широкая улыбка, миндалевидные ласковые карие глаза, чудесного рисунка губы. Мало вам? Гвардейский рост, кошачья гибкость движений и мягкий баритон. Все! Конец света! У проходящих мимо него девушек сразу менялась походка. Похоже, он никому не отказывал.

– Русские девушки мне очень нравятся. Они хорошие, – дружески делился он со мной впечатлениями, – плохо только, что все на одно лицо. Я путать часто. Была Наташа, потом думал, опять Наташа, совсем очень похожа. Говорит: я Нина. А Таня была с белым волос, потом другая с другим – и тоже Таня. Зачем так?

Было между моими соседями и еще одно существенное различие, которое создавало, как ни странно, сложности и для меня: Сулейман был мусульманином, а Морис – католиком. Поэтому, живя в одной комнате, они никак не могли вместе решать вполне секулярные задачи по химии. Изменить это я не могла, и приходилось, согласно контракта, делать индивидуальные консультации вместо групповых, тратя в два раза больше времени. Не знаю, истовым ли католиком был Морис, но Сулейман что-то все хитрил с Аллахом. Как-то я застучала его в буфете доедающим свиную сардельку.

– Сулейман, ты что? Ведь Аллах не велит есть свинину. С католиком, выходит, задачки решать не можешь, а свинину лопать можешь?

– Я не кушать свинья. Нет, зачем говоришь? Свинья совсем плохой, нехороший мясо.

– А сейчас что ешь? Огурец, да?

– Сариделька. Не написано свиньины. Кто знает? Сариделька написано!

Порой Сулейман даже осторожно критиковал законы шариата. «У меня никогда не будет много женов... в один момент... как у мой папа», – задумчиво повторял он. Так же дипломатично высказывался на политические темы: «Сосыализм, может быть, не очень плохо. Кому-то чуть-чуть очень хорошо. Да. Но почему я должен делать? Пусть делать один персона, кому сосыализм надо». В логике не откажешь.

Консультации обычно проходили в моей комнате. Я часто жила одна, моя соседка аспирант-психолог (в аспирантском билете значилось «аспирант-псих», чем она гордилась – что хочу, то и ворочу, раз псих и документ на то имею) то и дело уезжала к себе в Краснодар вынашивать очередную психологическую концепцию. Разок даже беременная оттуда приехала – южный, знаете, город... Витаминами, солнце, климат... В северной столице, конечно, нет той теплоты отношений. Но в тот раз она сидела в комнате и лихорадочно перерывала кипу ученых записок своего факультета, что-то выписывая. В комнату заглянул Морис:

– Женни, не понимаю... тут реакция написана... поджалуста.

– Морис, видишь, Ира занимается. Нельзя мешать. Да и у меня дел полно.

– Женни, можно у нас в комната? Очень-очень поджалуста! Я убрался в понедельник. На стол совсем чисто.

– Ну раз убрался... Ладно, сейчас быстренько разберемся.

В комнате, действительно, было не слишком грязно.

Прибоем ударяя в стены, мячом отскакивая от потолка, бушевала музыка. Сулейман спал на своей койке, обогащая свирепый рок переливчатым носовым посвистом. Морис, пошвырившись в роскошной кожаной сумке с просверками молний (у наших таких-то сумок сроду не было), вытащил за зеленое ухо тетрадку с невнятными каракулями.

– Морис, выключи!

– Не нравится? – Он бросился к проигрывателю. – Сейчас другое поставлю!

Их музыкальная система была куплена в «Березке» на валюту, развивала мощность реактивного самолета и генерировала у белых братьев широкий спектр эмоций – от острой зависти до мутной ненависти.

– Морис, совсем все выключи! Невозможно заниматься химией в таком шуме.

– Женни... ведь это ж... му-у-зыка! – Морис нежнейшим тенором пропел эту фразу. – Это музыка!

Мне стало немного стыдно, но ненадолго. Ну хорошо, черствая я. Да, немзыкальная. Зато отзывчивая. Никогда не отказывала в помощи, когда в два ночи соэтакники, знавшие о моем могуществе, грохали в дверь: «Женя, скажи этим... пусть заткнутся, сволочи черножопые!» И я, зевая, послушно накидывала халат, выходила в коридор и старалась урегулировать межрасовый конфликт. Это у меня получалось эффективнее, чем у ООН.

Уехав в Америку, я лишила себя такой возможности.

Часов в одиннадцать вечера, когда я, взяв себя за шиворот и запугав страшными карами по научно-административной линии, засела наконец за сочинение увлекательной статьи об энергии сольватации жирных кислот, в дверь постучали. На пороге маячил Сулейман – совершенно бледный, если можно так о нем выразиться. Насыщенный цвет зрелого баклажана потускнел до явно недоспелого.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.